НУЛЕВОЙ СЛОЙ

Игорь Брусникин



Игорь Брусникин

Нулевой слой

«Автор»
2026

Брусникин И.

Нулевой слой / И. Брусникин — «Автор», 2026

Леон Варга — архитектор, который умеет читать дома лучше, чем людей. Его город Мистхольм устроен правильно: трамвай приходит по расписанию, соседка здоровается в девять утра, булочник печёт косички с маком. Леон знает каждый скрип своей лестницы. Он уверен, что знает, где живёт.Но однажды утром третья ступенька молчит. Соседка смотрит сквозь него. Булочник не узнаёт его в лицо. Мать называет чужим именем. Всё на месте — и ничто не то.Мистхольм оказывается не одним городом, а многими: слоями одного и того же места, где одни и те же люди живут чуть теплее, чуть холоднее, чуть иначе — и не подозревают о соседях сквозь стену. Где-то в этих зазорах кто-то вёл счёт задолго до Леона. И счёт этот идёт к нулю.Роман о том, что расстояние между людьми — не пустота, а место, где живёт свет. И о том, что понять это можно только спустившись достаточно глубоко, чтобы уже не быть уверенным, куда ведёт лестница — вниз или обратно домой.

© Брусникин И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Тихий город 5
Глава 2. Свои люди 12
Глава 3. Вечеринка 20
Глава 4. Крик 28
Конец ознакомительного фрагмента. 35

Нулевой слой

Глава 1. Тихий город

Будильник звенел в 7:15. Леон Варга брал его в руку, не глядя, — рука знала дорогу сама. Он никогда не откладывал звон — не из дисциплины даже: просто первый час дня принадлежал ему одному, и спать в него было бы жалко.

Сначала кофе, потом вода в лицо, потом окно — в таком порядке. Кофе без сахара, мелкого помола, из медной турки, купленной на блошином рынке лет шесть назад. Ручку у неё отклеивали и приклеивали трижды, и Леон не собирался её менять: турка была его, а у вещей есть право оставаться собой. Пока она шипела, он стоял на кухне и смотрел в стену — не от тяжёлых мыслей. Просто утро требовало тишины, и он давал ей эту тишину целиком. Однажды Эрик сказал, что так живут только старики. «Старики и те, кто умеет слушать», — ответил тогда Леон, и Эрик хмыкнул, не поняв, но и не споря.

Окно в спальне выходило на восток, на крыши Ремесленной улицы. Мистхольм в семь тридцать был весь из красного кирпича и косого света: старые дома стояли плечом к плечу, нависая над узкими переулками, черепица темнела от утренней влаги, и над всем этим поднималось солнце — сначала ржаво-розовое, потом светлеющее, потом обыкновенное, дневное. Где-то на задворках стучал молоток. Где-то ругался кот. Город просыпался нехотя, как человек, которому рано на работу, но который уже не уснёт.

Леон пил кофе у окна, обхватив кружку двумя ладонями. Из-за крыш виднелась лента Мертена — тёмная ещё, с редкими проблесками. С южного берега доносилось, как грузчик закрывает фургон: три хлопка железом, всегда три. Река делила город пополам, и делила не только географически: южный берег жил громче и позже, там были портовые склады и мастерские; северный, где жил Леон, просыпался рано и засыпал рано, и этим гордился, хотя вслух никто этого не говорил — просто по тону было слышно.

Внизу, на углу, хлопнула ставня булочной Альтмана. Старик выносил свежий хлеб на витрину каждое утро примерно в это время, и Леон, глядя в окно, машинально подумал: хлеб вынесли, день пошёл. Не потому, что следил за расписанием, — потому что так складывалась утренняя картина мира, и в ней всё держалось на своём месте. Как в чертеже: не потому, что боишься ошибки, а потому, что так ровнее и лучше.

Он вымылся, оделся без раздумий — серые брюки, тёмная рубашка, куртка с воротником — и вышел на лестницу. Дом, в котором жил Леон, был старый, с чёрной парадной лестницей, пахнущей воском и сырым камнем, и с почтовыми ящиками у входа — латунными, стёртыми до золотистого блеска на цифрах. На его ящике цифра была почти не видна, но почтальон никогда не ошибался, и это тоже была часть порядка: город знал своих, даже когда номера стёрлись.

Госпожа Хальперн, соседка снизу, уже шаркала за своей дверью: слышно было, как она двигает табуретку, как льётся вода, как она что-то бормочет — то ли себе, то ли кошке, то ли улице. Кошки Леон никогда не видел, но слышал её часто. Соседи снизу существуют не как отдельные люди, а как звуковая дорожка дома — и это, если подумать, очень честная форма знакомства: по звуку не притворишься.

— Хорошего дня, госпожа Хальперн! — крикнул он, накидывая куртку.

— И вам, молодой человек! — донеслось снизу, хотя она и не могла его видеть. У Хальперн был дар отвечать на несказанное.

Квартал до бюро он проходил пешком — минут восемнадцать, если не считать короткую остановку у моста. Маршрут был один и тот же не из педантизма, а потому что других и не хотелось: вниз по Ремесленной, мимо булочной — там уже пахло корицей, и Альтман выкла-

дывал на витрину косички с маком — через двор с побитым фонтаном, где всегда пахло мокрым камнем.

Во дворе этом жил свой порядок. К восьми утра дед с тележкой выносил к подъезду банки для сбора стекла и здоровался со всеми, даже с теми, кто не здоровался. Дама в зелёном пальто поливала герань на подоконнике третьего этажа — из окна, через пропасть, не проливая ни капли. Мальчишка лет десяти сидел на бортике фонтана и делал вид, что никуда не торопится, — и это ему удавалось ровно до второго звонка из квартиры. Леон проходил через этот двор каждый день и каждое утро думал одно и то же: хороший двор. Дворы, как и дома, бывают говорящие и немые; этот был немой в лучшем смысле — он просто стоял и был.

К половине девятого над городом вставало солнце окончательно, и свет менял тактику: вместо косых розовых полос он заливал улицы целиком, и кирпич начинал отдавать тепло, накопленное за лето. В такую пору Мистхольм был похож на старый сундук, который открыли на солнце: пахло пылью, деревом и корицей из булочной, и всё это — сразу, дружно, как если бы город дышал одним дыханием.

Потом — направо, в Ковочный переулок, где дома сходились так тесно, что кроны деревьев смыкались над головой и в полдень стояла узкая тень, как в колодце. Леон любил этот переулок за честность: здесь не было витрин, только двери, таблички, скамейки и старый почтовый ящик, покосившийся лет на двадцать, — его никто не чинил, потому что все привыкли, и он держался, как держится многое в Мистхольме: на привычке. Потом переулок вырывался на набережную — и раскрывался весь сразу: река, мост Старого Штейна, южный берег с его низкими крышами и дымом из труб.

На набережной Леон замедлялся — не останавливался, замедлялся. По мосту шла утренняя процессия: люди с портфелями, девчонка на велосипеде, обгонявшая всех и звонившая в звонок даже там, где не было никого, — просто из принципа. Старьёвщик Уве толкал свою тележку и здоровался с каждым вторым, причём вторые в большинстве не оборачивались, и его это не расстраивало, потому что он здоровался уже с той стороной улицы. И старик с фотоаппаратом у перил — каждое утро, в любую погоду, он снимал один и тот же вид и никому не махал рукой: место, которое снимаешь, не замечаешь мимоходом. В начале девятого через мост, цокая, проходил трамвай номер три, и его гул сливался с гулом воды под арками. Всё это было так привычно, что Леон почти не замечал — а заметил бы сразу, если бы что-то сдвинулось.

Он ещё не знал, что скоро начнёт замечать всё.

В бюро «Хельм и Партнёры» занимали два верхних этажа старого дома на площади Корнмаркт — дом с аркой, датированной, по табличке, трёхсотым годом какой-то не самой важной эпохи. Внизу держали скобяную лавку, от которой наверх поднимался запах железа и опилок — Леон привык так, что перестал его чувствовать, и чувствовал только по возвращении из отпуска. Отпусков было два за восемь лет.

Бюро было небольшое: Хельм, Леон, Нора и старик Грубе, который заведовал картотекой и архивом чертежей — библиотекой всего, что город когда-либо построил и что попало им в руки. Грубе разговаривал с архивом чаще, чем с людьми, но по любому вопросу — «был ли у дома на Мертенской, 14, карниз в 1902?» — выдавал ответ за семь минут и никогда не ошибался. Люди считали это чудом памяти. Леон подозревал, что просто порядком: у всего должно быть своё место, и у бумаг тоже.

Сам Хельм — сухой, ровный, не старый, но уже седеющий мужчина с пальцами, вечно в карандашной пыли, — основал бюро двадцать лет назад вместе с партнёром, которого в бюро никогда не называли по имени, только «Партнёр». Партнёр умер давно, в первый же год совместной работы, и Хельм оставил его в названии — как оставляют свет в окне для того, кто должен вернуться. Никто не спрашивал его об этом. Думали, что все и так знали.

Работы в бюро было немного и была она хорошая: реставрация, пристройки к старым домам, редкие конкурсы. Хельм верил в руку больше, чем в машину.

— Программа посчитает, — говорил он. — А вот почувствовать, где окно должно быть, программа не может. Окно — это про то, куда человек смотрит, когда моет посуду.

Леон чертил от руки. Не из позы — по-настоящему: карандаш с мягким грифелем, рейсшина, ластик, стёртый в серую крошку, и тот особый ход линии, когда она идёт не сразу верно, а ищет, дрожит, находит и закрепляется. В компьютере линия получается сразу. В руке — честнее.

Сейчас они с Норой работали над пристройкой к дому нотариуса Брема — старому кирпичному особняку на северной стороне, которому заказчик хотел добавить оранжерею и не хотел ничего ломать. Задача была точь-в-точь леоновская: прикоснуться к старому так, чтобы старый не заметил.

Утро прошло как утро. В девять Нора Келль, не стучась, вошла в его кабинет, поставила чашку чая на край чертёжного стола и села напротив — с папкой и с готовым решением, как всегда.

— Смотри, — сказала она. — Если несущую стену оставляем, то свет в восточном зале падает до четырёх. Если переносим — до половины пятого, но тогда заказчик теряет кладку восемнадцатого века. Я считаю, свет важнее.

— Кладку тоже можно спасти, — сказал Леон.

— Как?

— Если сделать проём не в стене, а в её срезе. Разобрать по кирпичу и перенести.

— Перенести кладку.

— По кирпичу. Пронумеровать и перенести.

— Ты предлагал это вчера кому-нибудь ещё? — спросила Нора.

— Нет.

— Зря. Мне надо было хоть одному человеку сказать, что идея хорошая, чтобы я смогла согласиться не сразу и с достоинством.

Она посмотрела на него долго. Потом взяла карандаш, нашла чистое место на его листе — она всегда находила чистое место там, где он был уверен, что его нет, — и нарисовала узел.

— Вот так? — спросила она.

— Почти так, — сказал Леон и поправил одну линию. Двумя движениями.

— Возмутительно, — сказала Нора без выражения. — Дайте мне час, я вам это возненавижу и признаю.

Ровно через сорок минут она вернулась с листом расчётов и положила его на стол.

— Признаю, — сказала она. — И возненавидела, как обещала.

— Держите себя в тонусе, — сказал Леон.

— Я всегда в тонусе. Это вы расслабляетесь.

Они работали вдвоём хорошо и почти без слов. С Норой легко было молчать — это редкое качество, и Леон его ценил выше разговоров. Вне бюро они общались мало: раз в пару месяцев обед, иногда выставка. Ни тому ни другому это не казалось недоделкой. У Норы был муж-инженер и сад за городом; у Леона — вечерние прогулки и чертежи, которые не заканчивались никогда.

В обед он выходил на площадь Корнмаркт и покупал у Тильды — женщины с тележкой — булочку с тмином и стакан чая. Тильда каждый день говорила одно и то же:

— Свежее, тёплое, бери, не жалей денег.

— Сколько? — спрашивал Леон каждый день.

— Три, — отвечала она каждый день. — И не спорь, молодой человек, ты тратишь больше на кофе, я знаю, я вижу.

Откуда она видела — на площади не было смысла выяснять. Тильда знала город так, как знают только те, кто много лет стоит на одном месте и смотрит: она знала, кто с кем поругался, у кого перекрывали крышу и кто из братьев Финке снова не разговаривает. Про Леона она знала только то, что он берёт булочку с тмином и не торгуется, — и этого было довольно.

За едой его и застал Эрик. Студия Эрика — он сам называл это «конторой» — помещалась в двух шагах от площади, в бывшей швейной мастерской с огромным окном на север, и Эрик непременно проходил мимо в обед, как непременно заходил, если видел Леона за столиком.

— Вальга, — сказал он, садясь без приглашения. — Как поживает самая предсказуемая спина Мистхольма?

— Хорошо, — сказал Леон. — Она встаёт в 7:15.

— Я в курсе. Я ставил будильник на 7:15 однажды, чтобы застать тебя в живом виде, — и ты уже был в турке. Кто встаёт в 7:15 добровольно?

— Люди, у которых после десяти начинаются дела.

— У меня после десяти начинаются дела, — сказал Эрик с набитым ртом. — Поэтому я сплю до девяти. Это называется тайм-менеджмент.

Эрик умел есть и разговаривать так, что половина еды уходила в воздух, но Леон давно перестал на это дуться: с Эриком вообще было трудно дуться, потому что Эрик принимал любую претензию как аплодисменты. Он был шумный, тёплый и расточительный — расточительный вниманием, словами, временем — и Леон, который экономил всё перечисленное, находил в этой расточительности что-то полезное, как находят в чужом саду яблоки. Без Эрика Леон не ходил бы на вечеринки. С Эриком он ходил. Между этими двумя фактами и располагалась их дружба — прочная, как та самая кладка, только на другом растворе: на смехе.

— Ты в субботу свободен вечером? — спросил Эрик.

— Почему спрашиваешь?

— Потому что я хочу тебя куда-то затащить.

— Куда-нибудь шумное?

— Куда-нибудь шумное, — признал Эрик с гордостью человека, у которого всё шумное. — Но подумай до завтра. Не спеши. Я даю тебе всю ночь.

Он ушёл так же стремительно, как пришёл, кивнув Тильде, даме в зелёном пальто и почтовому ящику в Ковочном переулке — он здоровался со всем, что не сопротивлялось. Леон смотрел ему вслед и думал, что, наверное, каждому спокойному человеку нужен рядом кто-то неспокойный: не для того, чтобы менять его жизнь, а для того, чтобы в ней иногда было слышно эхо.

После обеда он дорисовывал узел, потом Хельм позвал к себе, посмотрел на лист через очки, снятые на лоб, и сказал только: «Вот здесь — хорошо. Не трогайте». Это была высшая похвала в бюро.

В четыре позвонил заказчик, нотариус Брем, — не по делу, а потому что ему было одиноко и он любил разговаривать с людьми, которые знают про его дом больше, чем он сам. Леон двадцать минут слушал про то, что в сороковые годы, по слухам, у Брема в этом доме жил фотограф, и под лестницей, может быть, осталась его тёмная комната, и не хотите ли вы, молодой человек, глянуть, — и Леон сказал, что посмотрит, когда приедут на замеры, и положил трубку с ощущением, что пообещал немного больше, чем хотел. Это тоже был порядок дня: заказчики не заканчивались, как и чертежи.

В пятом часу Хельм поднял голову от своего листа и сказал:

— Съездите с Норой на Мертенскую. Ещё раз взгляните на срез стены. И на свет. Свет после четырёх — не тот свет, что утром. Мне нужны оба.

На Мертенскую шло двадцать минут пешком, и они шли молча — Нора читала по дороге замеры, Леон смотрел на дома. Особняк Брема стоял в глубине квартала, спиной к реке, ста-

рый, с зубчатым карнизом и въевшейся в кирпич тёплой рыжиной, какая бывает только у кирпича, который прожил больше века и уже не собирается меняться. Двор был чистый, сухой, с одной старой липой, которая держала над двором такую крону, что тень от неё была гуще тени от дома.

Нотариус Брем встретил их сам — низкий, аккуратный, в жилетке, с той особой вежливостью, которую вырабатывают у людей, обязанных хранить чужие тайны. Он проводил их в восточный зал, где всё ещё стояли кресла, накрытые простынями, и где свет через высокие окна ложился на пол косыми жёлтыми полосами.

— Вот, — сказал Брем и махнул рукой, как махают на то, что не исправить. — Свет. Он умирает в четыре.

Леон встал у окна и посмотрел, куда падает полоса. Потом прошёл вглубь зала, где свет уже заканчивался, и присел на корточки, поставив ладонь на пол.

— Здесь, — сказал он. — В четыре свет ещё достаёт сюда. Если оставить стену.

Нора сняла очки, протёрла их краем рукава, надела и посмотрела на полосы, как на чертёж.

— Значит, считаем заново, — сказала она и открыла папку.

Пока она считала, Леон попросил у Брема показать лестницу — ту самую, под которой, по слухам, оставалась тёмная комната фотографа. Брем повёл его с фонарём. Лестница была старая, деревянная, стёртая посередине до гладкости, и под ней — низкая дверь, крашенная когда-то в зелёное, теперь в цвете мокрого камня. Брем подёргал. Не открылось.

— Ключ где-то был, — сказал он. — Но, понимаете, я живу здесь сорок лет и ни разу не открывал. Страшновато как-то. Вдруг там чужая жизнь.

Леон положил ладонь на дверь — она была прохладная, прохладнее, чем должна быть дверь в комнате под лестницей. Из-за неё тянуло сквозняком, лёгким и ровным, как дыхание.

— Чужой жизни не бывает, — сказал Леон. — Бывают ключи, которые потеряли.

Брем посмотрел на него с неожиданной теплотой.

— Красиво сказано, — сказал он. — Вы это в проекте запишите.

Назад они шли с Норой при стихающем свете. Нора не говорила ничего до самого угла Мертенской, а потом сказала:

— Тёмная комната фотографа.

— Что?

— Ничего. Просто красиво: все эти годы свет входил в зал через окно, а выходил — под лестницей. Через бумагу.

Леон подумал, что Нора иногда говорит вещи, которые он потом находит в своих чертежах, не помня, откуда они там взялись.

К вечеру в бюро опустело. Грубе запер картотеку и ушёл, чуть слышно кинув на прощание: «До завтра» — не Леону, по-видимому, а архиву. Нора ушла в шесть. Хельм задерживался, как всегда, — у него горел свет в окне до девяти, и город, глядя на это окно с площади, скорее всего, считал, что в бюро идёт работа. Леон знал, что Хельм просто сидит с чаем и рисует для себя — дома, которых никогда не будет. У каждого архитектора есть такие дома.

Вечером Леон не спешил домой. Дорога вдоль Мертена была его личным ритуалом: вверх по северной набережной, мимо причалов, где спали на приколе две баржи, мимо старика по имени Томас — Леон знал имя, потому что Томас сам представился года четыре назад и с тех пор кормил голубей на одном и том же парапете, разговаривая с ними с достоинством государя перед подданными.

— Ну, — говорил ему Томас сегодня, увидев Леона. — Ходишь.

— Хожу, — сказал Леон.

— Правильно, — сказал Томас и насыпал голубям ещё.

На слове «правильно» он не дал никакой расшифровки, и расшифровка не требовалась. Город был устроен так, что большинство разговоров в нём уже были сказаны, и оставалось только подтверждать.

За мостом Старого Штейна, на середине набережной, Леон миновал старый кирпичный дом — грузовой склад когда-то, теперь пустой, с забитыми окнами первого этажа и чёрным проёмом складской двери, уходившим в глубину здания. Оттуда всегда тянуло сквозняком и старой пылью, и мальчишки Мистхольма рассказывали друг другу, что там внизу живёт кто-то, кто не любит гостей. Леон не мальчишка, но, проходя мимо, всегда чуть ускорял шаг — не от страха, скорее из вежливости: не лезть в чужой дом, даже если дом пустой.

У причалов вода перекатывала свет фонарей с борта на борт, и казалось, что баржи дышат. На одной, на носу, сидела пара — не разговаривала, просто сидела, свесив ноги, и от этого выглядела так, будто сидит там всегда и будет сидеть всегда. Леон шёл мимо и не смотрел на них долго: чужие минуты не полагается разглядывать.

Там, где набережная поворачивала, в воде стояли отражения — не отражения даже, а вторые окна, вниз головой, жёлтые, тихие. Иногда река чуть вздрагивала от ветра, и окна плыли, но не гасли: город над водой и город под водой существовали одновременно, и Леон, глядя на это, всегда думал, что второй город, наверное, живёт медленнее — там всё делается наоборот и вдвое дольше.

Солнце садилось за южными крышами, и наступал лучший час Мистхольма — час окон. Тёмный кирпич остывал, и в каждом окне загоралась своя маленькая жёлтая комната: кто-то ужинал, кто-то читал, кто-то ходил по кухне с чашкой, и силуэт его шёл по потолку. Леон шёл вдоль реки и смотрел в эти окна, как смотрят в огонь — без желания войти. Ему было хорошо в том, что у него есть: в своей квартире с окнами на восток, в своей работе с карандашом, в своих восемнадцати минутах до бюро. Он не был счастлив в том праздничном смысле, в каком это слово произносят на вечеринках. Он был устроен. Между ним и жизнью стояла хорошая, плотная кладка, и он был тем человеком, который умеет такую кладку класть.

Он приехал в Мистхольм восемь лет назад, сразу после университета, на два месяца — посмотреть, как тут делают реставрацию, потому что в его краях реставрацию делали плохо. Два месяца превратились в восемь лет, и Леон до сих пор не мог объяснить, почему. Наверное, дело было в том, что город сел ему в руки, как селится старый инструмент: не привыкнешь сразу, но потом поймёшь, что он был всегда. Родители остались далеко, на юге; он звонил им по воскресеньям, и это был телефонный разговор, который у них получался лучше очного: за двадцать минут они успевали сказать всё, что могли сказать за год. Скоро ли приедешь, сынок. Приеду, мама. Обязательно.

Дома Леон зажёг свет на кухне, разогрел остатки вчерашнего супа и поужинал у окна, глядя, как через двор напротив последовательно гаснут окна: сначала у соседа-часовщика, который ложился раньше всех и вставал позже всех, потом в квартире на четвёртом, где жила семья с детьми, — там свет мигал, потому что кто-то бегал по коридору, — потом дальнее окно, мансарда, где никто никогда не видел, кто живёт, но свет там горел по средам и субботам за полночь. Город гас не сразу, а по очереди, как расходится гость после долгого вечера: кто-то уходит раньше, кто-то задерживается, и всем понятно, кто именно задержится до конца.

Суп был простой — картофель, лук, немного тмина, — и Леон ел его без спешки, потому что еда тоже была частью дня, а не паузой в нём. Потом помыл посуду, вытер её и поставил на сушилку — чашка ручкой вправо, тарелка второй, — не из педантизма, а потому что так рука находила её утром в темноте, не спрашивая.

Книга про старые мосты лежала на подоконнике, заложенная тонкой линейкой. Он прочёл двадцать страниц — про арочные пролёты, про камень, который держит вес не потому, что крепкий, а потому, что стоит правильно, — и закрыл книгу с чувством, похожим на благодарность. Прочее время в городе тоже стояло правильно. Пока — стояло.

Около десяти внизу, у Хальперн, загремел её вечерний час — радио, старые песни, ровно на полчаса, потом тишина. Леон улыбнулся, глядя в темноту: даже это было в расписании дня, не в его — в расписании дома. Дом жил своей жизнью, и Леон был в ней вписан, как окно в стену: не главное, но на своём месте.

В половине одиннадцатого, когда стало тихо совсем, Леон подошёл к окну ещё раз и посмотрел вниз: улица была пуста, фонарь на углу держал круг жёлтого света, в котором медленно кружилась пыль, и нигде — ни в одном окне, ни на одной крыше — не было ничего, что не было бы на своём месте.

Перед сном он подумал, как думал каждый вечер, словами, которые не были мыслью, а были скорее привычкой: всё на месте. Всё на месте.

И он уснул, не зная, что через несколько вечеров этот город — тот же самый, с теми же окнами, с тем же трамваем и тем же хлебом на витрине — перестанет быть его городом. Что кладка, которой он так гордился, уже дала невидимую трещину — тонкую, как волос, — и что трещина эта ждёт его в переулке за Старым Штейном, в старом кирпичном складе, мимо которого он проходил сто раз и не смотрел.

Город спал. Река несла свет фонарей на юг, медленно, как несёт всё в этом городе: неспешно, по раз и навсегда заведённому порядку.

Глава 2. Свои люди

Вторник выдался таким, каким бывают вторники в Мистхольме в конце лета: светлым, ровным, без происшествий. Утром над крышами стояла высокая дымка, обещавшая к обеду тепло, и Леон, поднимаясь по лестнице бюро, слышал внизу, как Грубе уже двигал ящики картотеки, — тихое деревянное постукивание, с которого день в «Хельме и Партнёрах» начинался чаще, чем с любого звонка.

Нора пришла в девять — как всегда, ровно, с папкой и с чашкой, которую ставила на край его стола раньше, чем здоровалась.

— Пока ты пьёшь, я расскажу, — сказала она. — Я всю ночь считала свет, и у меня плохие новости: при переносе стены мы теряем сорок сантиметров на западном фасаде. Сорок сантиметров, Леон. С точки зрения света в четыре часа это целое окно.

— Это не целое окно. Это пол-окна.

— А пол-окна в октябре — это полквартиры, темнеющей до ужина. Заказчик поставит свечи и назовёт это атмосферой.

— Тогда переносим не стену, а проём.

— Проём нельзя. Несущая.

— Можно, если разгрузить её консолью. Смотри.

Он развернул к ней вчерашний лист, и они склонились над ним вдвоём — так, как склоняются над картой двое, которым идти вместе: один указывает, другой сверяет, и оба знают, что спорят не друг с другом, а с материалом. Нора нашла неточность на пятой минуте — не ошибку даже, зазор, который Леон знал и оставил нарочно, чтобы посмотреть, заметит ли она.

— Здесь у тебя зазор шире, чем нужно, — сказала она.

— Знаю.

— Знаешь? — Она посмотрела на него поверх очков. — И оставить мог, только если надеялся, что я не замечу. Это, между прочим, неуважение к моему вниманию.

— Это проверка твоего внимания. Ты прошла.

— Снимаю шляпу, — сказала Нора. — Шляпы нет, но снимаю.

Стена, свет, консоль, зазор. Они проговорили проект насквозь и разошлись по столам — работать, как умели: рядом и молча. Иногда по коридору проходил Хельм, останавливался, смотрел через плечо и уходил, ничего не сказав. Отсутствие замечания было у него высшей формой одобрения, и все в бюро научились это читать быстрее, чем он сам понял, что его читают.

К одиннадцати Грубе постучал. Стучал он особенным образом — два раза и пауза, как будто спрашивал разрешения у самой двери.

— Вы просили папку по Мертенской, 9, — сказал он, входя с картонной папкой, перевязанной бечёвкой. — Дом Брема. Нашёл.

— Так быстро?

— Папка лежит там, где лежит. Это не скорость, это порядок, — сказал Грубе с лёгким укором, будто Леон сомневался в чём-то само собой разумеющемся. — Но там есть интересное. Смотрите.

Он развернул лист, пожелтевший по краям, со штампом конторы сорокалетней давности: план первого этажа. И под лестницей — маленький прямоугольник, выведенный карандашом, с подписью, выцветшей, но разборчивой: «фотокомната».

— Значит, правда была комната, — сказал Леон.

— План старой конторы, — уточнил Грубе. — Наше бюро тогда ещё не существовало.

— А вход?

— Вот здесь, сбоку, не под маршем, а с торца. Сейчас там дверь другая: либо нотариус перестраивал, либо перестроили до него, — Грубе пожал плечами. — В сороковых там, говорят, жил фотограф. Снимал город. Много снимал.

— Откуда знаете?

— Оттуда, что его работы иногда всплывают на аукционах. Мистхольм сороковых: мост, набережная, площадь. Он снимал один и тот же вид много раз. Странное увлечение, — заметил Грубе. — Снимать один и тот же вид много раз. Либо очень любишь место, либо чего-то от него ждёшь.

Он ушёл, а Леон ещё долго сидел, глядя на маленький карандашный прямоугольник. Комната под лестницей, в которую за сорок лет никто не заходил. Он подумал, что это как чертёж, который нарисовали и забыли: где-то в мире существует точное описание места, а само место заперто и ждёт. Такие вещи его не пугали. Они его звали — тихо, как звенит посуда в шкафу, когда мимо проходит поезд.

«Снимал один и тот же вид много раз», — подумал он ещё, пока складывал папку. В этом не было странности, если честно подумать: любой, кто любит место, возвращается к нему снова и снова. Просто люди возвращаются ногами, а фотографы — объективом. И неизвестно ещё, кто возвращается надёжнее. Человек может забыть дорогу. Фотография — нет: она ходит всегда одной и той же дорогой, потому что дорога нарисована на ней раз и навсегда.

В обед он вышел на площадь Корнмаркт. День к полудню разобрался с дымкой, и площадь лежала на солнце — светлая, стёртая, с голубями, которые расступались перед тележкой Тильды с достоинством людей, отступающих, но не признающих этого. Тильда была на месте и держала полки с булочками так, как держат знамя.

— Свежее, тёплое, бери, не жалей денег, — сказала она вместо приветствия.

— Три, — сказал Леон.

— И не спорь, молодой человек, ты тратишь больше на кофе, я знаю, я вижу, — сказала она, заворачивая булочку. — Сегодня тмин. Вчера был тмин. Завтра будет тмин. Ты ещё жаловаться начнёшь.

— Я не жалуюсь.

— Вот, и я говорю: не жалуешься, — сказала Тильда, как будто это было обвинение.

Эрик, нарочно проходивший мимо — или не нарочно: его проходы мимо были неотличимы от случайных, — забрал у Леона вторую половину булочки без приглашения и, жуя, сказал:

— Тебя сегодня Тильда хвалила. Я слышал. Не жаловался. Это высшая награда в этом городе.

— Она тебя тоже хвалит?

— Меня она кормит бесплатно. Это выше похвалы, — сказал Эрик. — Ладно, до субботы. Готовься.

— К чему?

— Ко всему хорошему, — загадочно сказал Эрик и ушёл, поклонившись голубям на своём пути.

После обеда Хельм вызвал их с Норой к себе и положил на стол эскиз оранжереи — не тот, что видел заказчик, а новый, с другой логикой света.

— Вот, — сказал он. — Вход в сад делаем не сбоку, а через старую дверь погреба. Погреб пусть станет тамбуром. Дёшево и честно.

— Заказчик хотел стекло с юга, — осторожно сказала Нора.

— Заказчик хотел свет. А свет можно дать и с севера, если поднять потолок на тридцать сантиметров и забыть о мнении заказчика насчёт стекла, — Хельм снял очки и протёр их краем рукава. — Северный свет ровнее. Для растений и для людей, которые приходят к нотариусу, ровный свет полезнее южного. Южный — для влюблённых и для витрин.

Он сказал это так ровно, что невозможно было понять, шутит ли. С Хельмом это была вечная загадка: он шутил так же, как распоряжался, — без интонации и без возврата.

К вечеру Леон докончил узел консоли, и Нора, проходя мимо, положила рядом с его локтем лист расчётной сетки — молча, как кладут подписанный договор. Он посмотрел: цифры сходились. Он поставил в углу листа маленькую галочку — их старый знак, означавший «согласна и больше не спорю», — и Нора, не оборачиваясь, подняла вверх большой палец. Так заканчивались их лучшие рабочие дни: без единого лишнего слова и с галочкой в углу.

Вечером он шёл домой вдоль реки. Томас был на своём парапете, и голуби сегодня вели себя нагло: один сел старику на плечо, и Томас не прогонял, а держался так, будто так и было задумано.

— У тебя вид человека, который сегодня что-то решил, — сказал Томас, не поворачивая головы.

— Ничего я не решал.

— Значит, решишь. У тебя лицо решающего, — сказал Томас и насыпал голубям ещё. — Идёшь домой?

— Домой.

— Правильно.

Слово «правильно» было сегодня произнесено с чуть другим нажимом, но Леон не успел поймать, каким, — и уже не стал. Он шёл дальше вдоль набережной и думал о том, что в Мистхольме вообще мало кто говорит лишнего.

Мимо пустого склада за Старым Штейном он прошёл, как всегда, чуть ускоряя шаг, и на этот раз — сам не зная почему — обернулся. Чёрный проём складской двери глядел на него из глубины, как глядит колодец: не угрожая, но и не отводя взгляда. Между досками нижнего окна дрожал отсвет — то ли от фонаря с улицы, то ли что-то своё, — хотя ветер не шевелил даже листья у тротуара. Леон смотрел секунды три, потом пошёл дальше, отмахнувшись от этой мысли, как отмахиваются от мухи в начале вечера: ещё не пора. Мальчишкам про этот склад врут, что там внизу живёт кто-то, кто не любит гостей, — и Леон, взрослея, так и не решил, врут ли они. Склад стоял пустой уже столько лет, сколько он себя помнил в этом городе, и всё же пустота у него была какая-то служебная: как будто его кто-то использовал и не сказал об этом городским легендам.

Дома он съел на ужин то, что было: хлеб, сыр, помидоры, слишком солёные, — и поставил пустую тарелку на сушилку, чашкой ручкой вправо, как всегда. Книга про мосты подождала его на подоконнике, и он прочёл десять страниц и закрыл её, потому что глаза просили окна. За окном город гас по очереди: часовщик, семья с детьми, мансарда. Всё по расписанию, которого никто не составлял и которое от этого было надёжнее любого составленного.

Около десяти внизу загремело радио. Леон уснул под старые песни, уже не слушая их, — и это тоже было хорошо: уснуть под голос дома, как ребёнок под голос с кухни.

Утром в среду Леон, уже одетый и с портфелем, столкнулся на лестнице с госпожой Хальперн. Она поднималась навстречу с пирогом — не на тарелке, а просто на двух ладонях, покрытых полотенцем, — и пахло от неё яблоками, корицей и немного ванилью.

— Держите, — сказала она вместо доброго утра. — Это вам.

— Госпожа Хальперн, вы каждую среду...

— Каждую среду, — согласилась она, как будто это была лучшая из возможных характеристик. — Возьмите двумя руками, он горячий с одного бока. Я не понимаю, как это у меня выходит: печь горячая со всех сторон, а он горячий с одного.

Леон взял пирог двумя руками. Он был горячий с нижнего левого бока, и это было почему-то правильно, как и всё у Хальперн.

— Чем сегодня занимаетесь? — спросила она.

— Замеры на одном старом складе. Потом бумажная работа.

— Скучный день, — сказала Хальперн с удовольствием, с какой одобряют чужие скучные дни. — Скучные дни — лучшие. В них никто не умирает и ничего не рушится. Вы на Брема поглядите, кстати, — дом его странный. Не злой — просто всё в нём немного не с той стороны.

— Как это?

— Ну, вот и лестница у него вверх ведёт не туда, куда ведёт, — сказала Хальперн вполне серьёзно, и Леон не успел спросить, что это значит, потому что она уже прибавила: — Пирог в холодильник, не на стол. И вечером принесите мне соли, у меня пачка кончается, а идти лень.

— Принесу.

— Хороший мальчик, — сказала она и пошла вниз, шаркая, как шаркала всегда.

Леон постоял на лестнице с пирогом в руках и поймал себя на том, что улыбается. «Вверх ведёт не туда, куда ведёт» — что это было? Старики говорят такими словами нарочно, чтобы у молодых было занятие — разгадывать. Или не нарочно. Иногда самые важные вещи люди говорят между пирогом и солью, и никто не думает их слушать, потому что между пирогом и солью никто ничего важного не ждёт.

Замеры на старом складе провалились к одиннадцати: у землемера был сломан рейсфедер, у подрядчика — настроение, а у заказчика, как назло, утром был день рождения, и он угощал всех пирогом, от которого веяло удвоенной Хальперн. Нора предложила вернуться и считать свет по бумаге, и Леон согласился, потому что свет по бумаге считался хорошо, если бумага хорошая. Они вернулись в бюро и до вечера сидели над ватманом, и день, который не получился снаружи, получился внутри: линия за линией, цифра за цифрой, галочка в углу.

Вечером он принёс Хальперн соль. Она отворила на стук, взяла пачку, повертела её в руках, как проверяют, и сказала:

— Чаю, что ли, налейте. Раз уж принёс. У меня как раз самовар кипел — я его кипячу на всякий случай, хоть и не знаю, чей случай.

Квартира её была тёплая и тёмная, как шкаф изнутри: по стенам буфеты с посудой, которой пользовались по праздникам, на столе — клеёнка в клетку, на подоконнике — герань в трёх горшках, по количеству окон. И на пороге кухни сидела кошка. Серая, старая, с одним мутным глазом, — сидела так спокойно, будто знала Леона всю его жизнь.

— Грета, — сказала Хальперн. — Не бойтесь, она не боится. Парадоксальная кошка.

Леон налил чай, и они сели у окна. Радио ещё не включили — час его не пришёл.

— Муж мой, покойник, — сказала Хальперн, глядя в чашку, — тридцать лет на южном складе просидел, приёмкой. Всё считал: ящики, дни, людей. И говорил одну вещь, я её теперь иногда повторяю, а толку мало — повторяю людям, а они слушают и не слышат, потому что молодые не слышат, пока само не грянет. Он говорил: город как часы. Пока их никто не вскрывает — идут. Вскроешь — уже не идут так, как шли.

— И что, — сказал Леон, — их нельзя вскрывать?

— Можно. Но не надо, пока не знаешь, зачем, — сказала она и отпила. — Вы мне вот что скажите: вы сами-то знаете, зачем живёте? Не глобально зачем — а сегодня зачем?

Леон подумал. Это было не праздное любопытство — у Хальперн был способ задавать вопросы так, что за ними стояла ответственность за ответ.

— Сегодня я живу ради чайника у Брема в субботу, — сказал он. — И ради того, чтобы ваш пирог был в холодильнике, а не на столе.

— И ради того, чтобы в десять успеть на свою песню, — сказала Хальперн, кивнув на радиоприёмник, — на станцию, значит. Хорошо. Это честный ответ. Часы идут.

— А вы? — спросил он. — Вы зачем живёте — сегодня?

— Для меня? — Она подумала честно, не торопясь, как думают люди, которым есть что взвешивать. — Я сегодня живу для того, чтобы Грета дожила до ветеринара в четверг. И для того, чтобы кто-нибудь в этом доме раз в день сказал другому что-нибудь доброе. Обычно этим кем-то оказываюсь я. Работа не тяжёлая, зарплата маленькая, но зато всегда есть.

Она засмеялась — тихо, себе под нос, — и добавила, уже серьёзно:

— Не вздумайте понять меня неправильно, молодой человек. Я не о грустном. Я про то, что счастье — оно как соль. Мелкое, скучное, и без него всё пресно. Все ищут мёд, а надо бы соль проверять.

Леон вышел в начале одиннадцатого. Радио у Хальперн уже загремело — старые песни, полчаса, тишина, — и он поднимался по лестнице, под их несмолкающий, домашний гул, как поднимаются под дождём, который не касается, но слышен. Он обернулся. Дверь Хальперн была прикрыта, но не заперта — щель в палец, из которой сочился тёплый свет.

«Если увидите дверь, которая не там, где должна, — не обязательно её открывать. Но запомнить надо».

— Она этого не говорила, — сказал Леон вслух.

Он был уверен, что она этого не говорила. Он был готов поспорить на что угодно, что этих слов в её речи не было. И вместе с тем слова висели в воздухе лестничной клетки с такой очевидностью, что спорить было не с кем: они были здесь, и они были произнесены голосом Хальперн, тихим и неспешным, — просто он, должно быть, не расслышал. Ступенька скрипнула под ногой. Леон постоял ещё секунду и пошёл к себе.

Дома он долго смотрел на пирог в холодильнике. Потом закрыл дверцу — аккуратно, без стука, — и лёг. И уснул не сразу, впервые за долгое время.

Четверг прошёл как четверг: ветеринар у Греты прошёл хорошо — Хальперн вечером была довольна.

В пятницу позвонил Эрик — с самого утра, в девять ноль-ноль, что означало либо аварию, либо план.

— Вальга, — сказал Эрик без приветствия. — Ты помнишь, что завтра суббота?

— Помню.

— А что ты завтра делаешь?

— Замеры у Брема и чай у Брема.

— Это ты днём делаешь. А вечером у тебя ничего нет, я проверял. У тебя вечером вечеринка. У меня. В конторе. Музыканты будут — не настоящие, но живые, это важнее. И люди, которых ты не знаешь, но должен: я тебе представлю их как «хорошие люди», и тебе придётся верить мне на слово.

— Зачем мне люди, в веру которых я должен верить?

— Затем, что все хорошие люди сначала чужие, — сказал Эрик с непобедимой логикой. — Леон. Выходи из кладки. Один вечер. Если не понравится — вернёшься к своей турке, и я даже не скажу никому, что ты жаловался.

— Я не жалуюсь никогда.

— Вот именно, поэтому и надо, — сказал Эрик. — Человек, который не жалуется, копит. А накопившееся надо раз в год выгуливать. Приходи к девяти. Позже — будет толпа, и ты устанешь раньше, чем разморит.

— Разморит?

— Это важно для атмосферы. До девяти. И оденься как обычно, не надо из тебя архитектора в вечерней одежде делать.

Он положил трубку, не попрощавшись, — он и не прощался никогда, потому что был уверен, что всё сказал. Леон посмотрел на трубку, потом на ватман с оранжереей и подумал, что Эрик прав во всём, кроме термина «разморит»: разморит или нет, это было как раз тем, чего Леон не умел предсказать по бумаге. А то, чего не предсказать по бумаге, его всегда интересовало больше остального.

Пятница прошла тихо. Грубе принимал в архив новый ящик бумаг — снос дома на Кожевенной, — и весь день до вечера слышно было, как он аккуратно, по одной, перекладывает папки, будто переселяет жильцов. Хельм отослал заказчику эскизы и весь день был доволен

собой в той особой, невидимой форме, в которой это заметно только по тому, что он дважды принёс всем кофе. Нора чертила уточнение к погребу-тамбуру и в обед сказала Леону:

— Хельм сегодня почти поёт.

— Он не поёт.

— Он дважды принёс кофе. В переводе с хельмовского это «аллегро».

Дом был тих и неподвижен, город шёл своими кругами, и, если бы кто-нибудь снаружи заглянул в это бюро, он сказал бы: обычный день. И в этих двух словах — «обычный день» — была целая гармония, которую Леон умел слышать так же ясно, как слышат тиканье часов: не слушая, а просто не имея возможности не слышать.

В субботу днём они с Норой поехали на Мертенскую, к Брему. Особняк принял их приторным запахом старых цветов: где-то на верхних этажах сохли розы, и запах спускался по лестнице навстречу, как вода под гору. Нора мерила зал, Леон ходил по дому с рулеткой и блокнотом и в перерывах между цифрами смотрел на дом — так, как смотрят на человека, с которым предстоит работать год.

К пяти они закончили, и Брем, как обещал, был весь чайник. Он водил их по комнатам, рассказывал про тётю и про ключи от чемоданов и, наконец, привёл их к лестнице — той самой, под которой стояла запертая дверь.

— Ну что, — сказал он, — открываем?

Брем вынул из жилетного кармана ключ — простой, домашний, свежей латуни.

— Нашёл на неделе, в буфете, за посудой, — сказал он. — Видимо, лежал с тех пор, как дверь перестраивали. Замок на ней не родной — родной был с торца, как на старом плане, а этот ставили позже.

Леон вставил ключ. Замок повернулся с усилием, неохотно, как поворачивается чужой замок, которому дают не его ключ, — и дверь подалась внутрь, выпустив им навстречу ровную волну холодного воздуха. Пахло бумагой, ванилью и чем-то ещё — чем-то таким, чего Леон не мог назвать: не запахом, скорее памятью о запахе.

Брем щёлкнул выключателем — лампочка под потолком вспыхнула и осветила маленькую комнату, в которой не было ничего, кроме стола, стула и большого листа картона на стене. На картоне — фотографии. Десятки фотографий, аккуратно наклеенных, одно и то же: мост Старого Штейна, набережная, город в час окон. Одни и те же окна, одни и те же крыши, снятые много раз, в разные годы, при разном свете.

— Ну надо же, — тихо сказал Брем. — А я ведь думал, там пусто.

Леон подошёл ближе. На самой последней фотографии — той, что была наклеена последней и снята позже всех, судя по наклону солнца, — внизу, у перил моста, стоял человек. Он стоял спиной и смотрел на южный берег, и рядом с ним лежала корзина. У корзины сидела девочка.

Корзина была видна.

— Здесь девочка с корзиной, — сказал Леон, не оборачиваясь.

— Что? — сказал Брем. — Ах, это. Ну да, у него по всему городу эти снимки. Мост, набережная, всегда одно и то же. Знаете, что самое странное? Иногда мне кажется, что он снимал не мост, а что-то за мостом. Что-то, чего мы все не видим. Вот идут люди, смотрят на реку, — а он смотрит чуть мимо. Всю жизнь чуть мимо, — Брем повёл рукой вдоль картона, и тень его стекла по фотографиям. — Умный был человек, а чудил. Или чудил, потому что был умный. Одно другому не мешает.

Нора встала рядом с Леоном и молча смотрела на стену секунд десять, потом сказала:

— Знаешь, что странно? Все они сняты в один час. Я не уверена, но свет везде одинаковый. Как будто он приходил не в разное время, а в разное время, но в один и тот же час.

— Это и есть «в разное время», — сказал Брем.

— Нет, — сказала Нора спокойно. — Это разное.

Из подвала, с торца, тянуло холодом, и Леон вдруг поймал себя на том, что стоит спиной к картону и слушает — не звук, а его отсутствие. Дом за стеной жил: где-то потрескивали рамы, где-то шёл дождь по крыше, где-то скрипел стул Норы. А здесь, в маленькой комнате под лестницей, не было ничего. Ни звука. Комната была вырезана из дома, как кадр из плёнки, — и Леон не знал ещё, что именно в такие вырезанные кадры потом проваливаются люди.

Выходя, он закрыл за собой дверь, и замок снова сопротивлялся — не запираясь, а как будто засыпая обратно. Комната под лестницей осталась внутри дома, и дом остался снаружи на своём месте, и всё это было правильно — почти.

«Почти» Леон не заметил. Ещё не заметил.

Вечером он переоделся — как обычно, серые брюки и тёмная рубашка, — выпил кофе без сахара, чтобы не уснуть на вечеринке, и вышел. По дороге он думал, что, может, стоит вернуться пораньше: неделя была длинная, а ночь обещала быть такой, после которой не хочется вставать в 7:15. Но Эрик ждал, а Эрика не подводят — не из долга даже, из уважения к его вере в людей.

Город по дороге домой был смирный и сонный: где-то за домами прошёл трамвай номер три, дребезжа, как посуда в шкафу; на углу у фонаря стояли двое и разговаривали слишком тихо для такого лёгкого разговора; где-то хлопнул ставень — не Альтман, кто-то из соседних. Леон шёл и вполуха слушал ночь, как слушают чужой разговор в соседней комнате: приятно, успокаивающе и не своё.

Контора Эрика к девяти была полна света, и половина этого света была лишняя: лампочки по периметру, гирлянда над окном, чей-то фонарь на столе. Музыканты — не настоящие, но живые — настраивались в углу, и настройка звучала интереснее, чем обещала музыка. Эрик бросился к нему через всю комнату, как бросаются через реку.

— Вальга! — заорал он на всю студию. — Человек! Живой! Одет как всегда!

— Как просили, — сказал Леон.

— Так, знакомься. Это все хорошие, я проверял...

И Эрик повёл его через комнату, представляя, по очереди: Марта — не та Марта, другая, художница; Каспар, который ремонтирует всё, что не живёт; Лена с южного берега, которая смеялась в ответ на любое его слово раньше, чем он его договорил. Леон здоровался, кивал, спрашивал про дела, и было почти легко — тело помнило, как это делается, как помнит дорогу рука.

Позже, когда музыканты начали играть, Леон стоял у окна с бокалом, который не пил, и смотрел, как в отражении двигаются чужие силуэты. Эрик притиснулся к нему плечом, глядя в тот же отражённый зал.

— Ну что? — спросил он. — Разморило?

— Ещё нет, — сказал Леон.

— Значит, ждём, — сказал Эрик и убежал в толпу, как убегают в реку.

Леон остался у окна. Было тепло, шумно, светло; кто-то засмеялся в другом конце комнаты, кто-то стал раскладывать карты на полу, кто-то спорил про кино. В отражении за его спиной танцевали, говорили, махали руками, и все они были чуть плоскими, чуть тихими — так комнатные люди выглядят в зеркалах, если смотреть на них слишком долго: знакомые до мелочей и всё-таки не совсем те. Леон подумал о фотографиях в комнате Брема: тоже отражения, тоже люди спиной, тоже город, который не отводит взгляда. Он отогнал эту мысль — вечер был не для этого.

Ночь шла своим чередом — так, как шла всегда на вечеринках у Эрика: весело, немного слишком громко и ни на минуту не страшно.

Если бы кто-нибудь сказал ему сейчас, что эта ночь разделит его жизнь на «до» и «после», он бы, наверное, улыбнулся вежливо и попросил ещё кофе. В таких вещах никто не верит заранее. За окном Мистхольм лежал в тишине, весь в своих маленьких жёлтых окнах, — и

смотрел, как всегда, спокойно и ровно, как смотрит город, который пока не знает, что его уже начали открывать.

Глава 3. Вечеринка

Музыка к одиннадцати стала настоящей — не потому, что музыканты были настоящие, а потому, что настройка кончилась, и аккордеон повёл мелодию, гитара подхватила, а контрабас пошёл внизу, как вода подо льдом: медленно, тяжело и с той единственной соскакивающей струной, из-за которой во всём звучании постоянно жила короткая нотка обиды. Играли они не для танцев — для того, чтобы люди могли говорить громче, и всем это подходило, потому что разговор был главным видом искусства на вечеринках Эрика, а музыка шла к разговору аккомпанементом.

Эрик вернулся с бутылкой тёмного стекла и двумя рюмками, от которых несло сливой.

— Сливовая, — объявил он торжественно. — Из Подвесья. Тётя гонит по рецепту своего деда, а рецепт, по её словам, старше города. Пей медленно: она не для того, чтобы напиться, а для того, чтобы вечер стал длиннее.

— А если я хочу, чтобы вечер стал длиннее?

— Тем более медленно, — сказал Эрик и исчез в толпе.

Наливка была тёплая, густая, сладкая вначале и терпкая в конце — как конец лета, если бы его можно было пить. Леон стоял у окна и смотрел, как комната живёт сама с собой: Марта — художница, не та Марта, что приходила на позапрошлый вечер, — показывала кому-то маленькую записную книжку; Каспар стоял на стуле и прикручивал к потолку лампочку, которую кто-то зачем-то выкрутил; Лена с южного берега смеялась в дальнем углу, и по тому, как она смеялась, было слышно, что смеётся она над чем-то своим — над мыслью, которую никто ещё не успел произнести.

В комнате было тепло и вкусно пахло: воском от свечей на подоконнике, мокрой шерстью курток в прихожей, сливой и пирогом, который кто-то принёс и который уже кончился — остался один запах. Леон обнаружил, что снимает пиджак и вешает его на спинку стула, и что действие это произошло как-то само, без решения. Вечер размягчал его снаружи, как размачивают сухую губку.

— Вальга, — Эрик возник рядом, теперь уже с Леной. — Знакомься. Лена. Лена — это Вальга. Самая предсказуемая спина Мистхольма.

— Прекрасно, — сказала Лена. — Мне давно нужен предсказуемый. Все вокруг у нас предсказуемо непредсказуемые.

— Она всегда так говорит, — доверительно сообщил Эрик.

— Я всегда так говорю, — подтвердила Лена. — А ты как думаешь, Леон?

Она произнесла его имя так, будто была уверена, что имя ей понравится.

— Я думаю, что предсказуемость недооценивают, — сказал Леон. — На предсказуемом человеке можно строить планы. На непредсказуемом — только писать стихи.

— О-о, — сказала Лена с восторгом. — У нас есть архитектор, который строит планы. Наливай, Эрик. Я его изучу.

Эрик налил. Лена оказалась из тех людей, с которыми разговор шёл сам: она спрашивала не о том, чем ты занимаешься, а о том, как ты видишь. Почему старые дома держат воздух, а новые нет. Можно ли сделать мост красивым во второй раз, если в первый раз он уже был красивым. Правда ли, что архитекторы видят город голым — без вывесок и фасадов. Леон поймал себя на том, что рассказывает — охотно, долго, что было ему несвойственно, но шло легко, потому что Лена слушала, как слушают музыку: не перебивая, и было видно, что слышит.

— Вы знаете, что вы делаете с городом? — спросила она в какой-то момент.

— Что делаю?

— Вы его чините. Каспар чинит лампы и людей, Эрик чинит настроение, вы чините дома. А кто-нибудь чинит сам город? Не дома в нём — его?

— Город не ломается, — сказал Леон. — Он изнашивается. Это другое.

— А чем отличается?

— Ломается — когда на него давят. Изнашивается — когда им пользуются.

— О, — сказала Лена и порылась в сумочке. — Это надо записать. Мне все говорят, что нельзя жить записями, а я живу записями. Из записей выходит человек, а из памяти — только легенда.

Лена, узнав, что Леон живёт на северном берегу, немедленно объявила это диагнозом, а не фактом.

— Северянин, — сказала она с осуждением, в котором было много любви. — Вы, северные, ложитесь спать, когда мы только ужинаем. Я живу в Гавани, у самой воды, и от нас до вас — один мост, а по сути — сто лет.

— Сто лет в какую сторону?

— В сторону раннего сна, — сказала Лена. — Хотя не скажу, кому лучше. У вас окна на восток, и вы все просыпаетесь со светом. У нас окна на запад, и мы все засыпаем со светом. И то и другое выглядит как жизнь, в которой кто-то заранее о тебе позаботился.

— «Кто-то заранее о тебе позаботился», — сказал Эрик, вернувшийся с бутылкой. — Записать, Лена! Это надо в рамку.

— Уже записала, — сказала Лена и действительно записала.

Каспар слез со стула и понёс через комнату Марте маленькие настенные часы — круглые, с латунным ободком, потемневшим так, что латунь стала похожа на мёд, который кто-то забыл на столе.

— Марта, — сказал он с тем выражением, с каким переходят границу. — Я должен признание.

— Признание?

— Я починил твои часы.

Марта перестала улыбаться. Не рассердилась — перестала улыбаться, и это оказалось хуже.

— Когда?

— В среду. Они стояли у тебя на окне неделю, стрелки без хода, я не выдержал. Я чиню всё, что не живёт. Это не привычка — это диагноз. Тебе Эрик не рассказывал? Зря. У него все диагнозы по алфавиту.

— Ты не понял, — сказала Марта спокойно. — Я их не чинила нарочно.

— Как это — нарочно?

— Так. Они остановились в марте, и я оставила их остановленными. Пусть висят, как висят. Времени у меня в тот год было достаточно.

— Марта, — сказал Каспар, — они висели неправильно. Я мимо проходил — и у меня рука не поднималась. Это как если бы у моста сбоку висела табличка «сломан» — не потому, что сломан, а потому, что кто-то так решил.

— Это мои часы, — сказала Марта.

— Это мои руки, — сказал Каспар. — Считай, я их занял.

Они смотрели друг на друга секунды три, и по комнате — Леон заметил — уже начали поворачивать головы: вечериночные ссоры собирают зрителей быстрее, чем любые кулисы. Но Каспар сделал то, чего никто не ждал: он снял часы со стены, открыл заднюю крышку и остановил маятник пальцем.

— Вот, — сказал он. — Пусть молчат. Но молчат исправно. Чинить — не значит пускать ход.

Марта посмотрела на часы, потом на Каспара. Потом засмеялась — так смеются, когда гнев не нашёл, во что выстрелить.

— Ты невыносим, — сказала она. — Вешай обратно.

— Уже, — сказал Каспар и повесил.

Леон подумал, глядя на них, что примирение после мелкой ссоры — одна из самых тёплых вещей на свете: не потому, что всё хорошо, а потому, что в нём есть маленькое доказательство, что человек дороже, чем дело. Он сам не умел так — останавливать маятник пальцем, находить компромисс в полминуты, — но Эрик умел постоянно, и Нора умела, и, наверное, вся жизнь Мистхольма состояла из таких остановленных часов, которые молчат исправно.

К одиннадцати Эрик забрался на стул у окна и постучал по рюмке ложкой, потом по бокалу, потом снова по рюмке — стул оказался недостаточно высоким авторитетом.

— Так, — сказал он. — Слушайте все. Тост. Короткий, потому что наливка дорогая, а тёть в городе всего две.

Кто-то не замолчал сразу. Эрик выждал, и выжидание сработало лучше любого гонга: тишина наступила сама.

— За Леона Варгу, — сказал Эрик. — Человек восемь лет живёт в этом городе и не знает, что он нам всем нужен. Дома чертит. По мосту ходит всегда в одно и то же время. Кофе пьёт без сахара — то есть, я спрашиваю вас, ради чего мы вообще существуем? — он поднял рюмку. — За тех, кто вышел из кладки! Вальга, тебе положено ответить. Скажи что-нибудь короткое и невыносимо правильное.

— За кладку, — сказал Леон и выпил второй.

Смех пошёл по комнате тёплой волной, и внутри этой волны, под шуткой, было правдивое зерно — Эрик умел вшивать правду в шутки так аккуратно, что шов не виден. Леон чувствовал тепло — наливки или правды, он не разбирал, — и разбираться не хотел: в такие минуты разбираться не полагается.

Позже Марта с бокалом села рядом с ним на широкий подоконник. За стеклом был кусок ночной улицы: фонарь, угол дома, полоска моста Старого Штейна, по которой изредка проплывал поздний прохожий — быстрый, как рыбка в аквариуме.

— Эрик сказал, вы чертите дома от руки, — сказала она. — Значит, вы рисуете. И я рисую. Мы обязаны найти общий язык, иначе весь вечер будет считаться упущенным.

— Чем вы рисуете?

— Тушью. Дрожащей рукой. Но это детали. Я, между прочим, рисую окна.

— Окна?

— Окна. Не виды, не улицы, не людей. Окна, — Марта посмотрела на ночь за стеклом. — Все рисуют виды, а вид — это смотровая площадка: оттуда всё видно и ничего не слышно. А окно — это между. Окно делит свет на «до» и «после». Я нарисовала их, наверное, триста. И почти все — одно и то же.

— Одно и то же?

— Ну да. Одно окно. Нашла его лет пять назад — вот такое, — она показала пальцами прямоугольник в воздухе, с наклонённой верхней перекладиной. — И всё рисую его. Разное время, разный свет, разные занавески, а окно одно. Художница, которая триста раз рисует одно окно, — по всем правилам это либо Мастер, либо диагноз.

— И что говорят?

— Говорят: зрелая тема, — сказала Марта и хмыкнула. — А если честно: мне просто нравится. Я стою перед ним и думаю: вот, опять ты. Опять я. Опять свет.

Леон молчал, потому что внутри тихо откликнулось — комната под лестницей, десятки снимков одного моста. Про фотографа он не сказал. Просто подумал: правда, наверное, в том, что человек всю жизнь ищет одну точку, с которой мир имеет правильный вид. У фотографа эта точка была у моста. У Марты — за стеклом. У самого Леона — набережная в час окон. А у Эрика точек не было: у Эрика был весь город сразу, и в этом тоже был смысл — другой, но смысл.

— Хорошая тема, — сказал он вслух. — Одно окно.

— Приятно слышать от архитектора, — сказала Марта. — Архитектор — это человек, который делает окна большим тиражом.

Единственный настоящий спор вечера случился между Леной и Эриком — из-за пластинки. Когда музыканты взяли перерыв, Эрик поставил с юга запись, которую Лена объявила «музыкой для ожидания автобуса».

— Это моя вечеринка, — сказал Эрик.

— Это моя суббота, — сказала Лена. — Автобус у меня завтра в девять, а ты ставишь мне похороны солнца.

— Похороны солнца — это красиво.

— Это медленно. Красиво и медленно — разные вещи, а у тебя, Эрик, всегда с этим путаница.

Спор был легко решаем и оттого вёлся с удовольствием: Эрик предложил компромисс — половину вечера по правилам хозяина, половину по правилам гостей, — и Лена согласилась с условием, что в её половину войдут все разговоры о городе. Так и порешили. Никто потом не помнил, в какой половине вечер кончился, но музыка стала живее, и это было засчитано всем.

За полночь кто-то вынес на середину комнаты колоду, и вечер пошёл в новую фазу: расстелили плед, сели в круг — Эрик, Лена, Каспар, Марта и один человек, которого Леон в упор не помнил, хотя был уверен, что видел его полчаса назад. Игра называлась «мост» — Лена настояла на названии, потому что «в этом городе всё равно всё про мост».

— Правила простые, — сказала Лена. — Проигравший рассказывает историю. Остальные решают: правда или выдумка.

— Это не правила игры, — сказал Каспар. — Это правила допроса.

— В этом городе всё равно всё про мост, — повторила Лена невозмутимо и раздала.

Леон проиграл первым же кругом и, после короткой паузы, в которую вся компания вежливо впилась глазами, рассказал правду: как приехал в Мистхольм на два месяца, посмотреть, как здесь делают реставрацию, и как остался на восемь лет — и как однажды в первую зиму вышел в пять утра на набережную, в темноту, и стоял у парапета, и в половине седьмого фонари разом погасли — а небо ещё было тёмное, — и он стоял в темноте и вдруг понял, что город — это не дома. Город — это что-то, что умеет просыпаться и само решает, когда включать свет.

— Правда, — сказал Каспар.

— Правда, — сказала Марта. — Так врут только если выучили наизусть.

— Правда, — сказала Лена, — потому что слишком грустно, чтобы выдумывать. А всё слишком грустное — правда. Проигравший рассказывает ещё одну.

— В правилах этого нет.

— В правилах, в которых есть допрос, всё есть, — сказала Лена.

Проиграл следующий Эрик. Рассказал историю о том, как в школе за несделанный чертёж сдал учителю чертёж своей комнаты с подписью «вид изнутри», и учитель долго смотрел, потом поставил четвёрку — «за перспективу» — и Эрику до сих пор стыдно, что он не спросил, за что именно: за вид или за подпись.

— Правда? — спросил Леон.

— Правда, — сказал Эрик. — У меня и четвёрка осталась, в дневнике. Хочешь, покажу.

— Дневник за двадцать лет?

— Я храню все свои улики, — сказал Эрик с достоинством.

Потом проиграла Марта. Она подумала и рассказала, как однажды продала картину — окно, разумеется, — человеку, который повесил её в кладовке, потому что «в комнате нет места», и как она теперь каждый год звонит ему и спрашивает: а картина-то как? Не потемнела ли? Не тесно ли ей в кладовке?

— И что он отвечает? — спросил Лен.

— Что картине нормально, — сказала Марта. — Он думает, что я проверяю её сохранность. А я проверяю её счастье. Это разные вещи, но по телефону они звучат одинаково.

Все решили: правда. Каспар сказал, что за такую заботу о картинах надо давать медаль, а снимать её — у самого владельца, который повесил окно в кладовку.

Проиграл затем Каспар. Он недолго мучился и рассказал, как чинил будильник вдове с Гавани: тот звонил в пять утра, хотя хозяйка просила «к семи», — и как он, Каспар, оставил всё как есть. Потому что в доме вдовы, по его словам, с пятью утра уже ничего не происходило — и пусть хоть будильник живёт.

— Это правда? — спросил Леон.

— Это правда, что я так сказал вдове, — сказал Каспар честно. — А правда ли это по существу — решайте сами, вы же суд. Считается, что я проиграл?

— Считается, что ты выиграл, — сказала Марта. — Проиграть, рассказав такое, невозможно.

Около часа ночи Эрик налил Леону третий бокал — «последний, тётья норма» — и мир стал мягче по краям. Не размыт — именно мягче: звуки стали шире, свет теплее, слова шли сами, и Леон смеялся больше, чем смеялся за весь год, и знал об этом, и позволял. От наливки теплилась ладонь, которой он держал бокал; музыка стала объёмнее — он мог, закрыв глаза, сказать, где стоит контрабас, а где скрипнула половица; и когда Лена смеялась, он чувствовал её смех как погоду — мимолётную, хорошую, дождь с солнцем. Голова работала так же точно, как всегда, — только без обычного встречного ветра. Он был размягчён. Не пьян — размягчён: как дерево, которое хорошо просушили и наконец позволили быть тёплым.

Именно тогда он и заметил старика.

Тот стоял у окна — поодаль от музыки, с недопитым стаканом: серое пальто, седая голова. Он не смотрел на улицу. Он смотрел чуть мимо улицы — так, как смотрят сквозь стекло: город под окном был для него не пейзажем, а чем-то, что находится за городом, дальше. Леон смотрел на него секунд пять. Не из страха — из того любопытства, которое включалось у него на чужих чертежах, когда линия вела себя необъяснимо.

— Кто это? — спросил он у Каспара, наклонившись.

— Кто? — Каспар оглянулся. — А. С кем-то пришёл. Эрику сказал «спасибо за вечер» — что странно, потому что сказал он это, когда пришёл, а не когда уходит.

Леон хотел спросить ещё — и не успел: Лена потребовала вернуть карты, обвинив его в систематическом удержании тузов, и спор был объявлен делом государственной важности. Когда Леон снова посмотрел к окну — старик стоял на прежнем месте. А когда Леон освободился минут через десять — у окна стояла Марта и доказывала Лене, что дождь нельзя рисовать, не рисуя окон. Старика не было. Ни в прихожей, ни в комнате: Леон обвёл глазами углы и не нашёл его. Он решил, что тот вышел во время очередной волны смеха — через прихожую, как выходят все. Всё объяснимо. Хотя «всё объяснимо» — это ведь не объяснение, а только объявление о намерении не думать дальше.

— Ты куда смотришь? — спросила Лена.

— Так, — сказал Леон. — Окна изучаю.

— Хороший выбор, — одобрила Марта.

Музыканты к этому часу устали и потому заиграли лучше — так бывает: когда на эффекты не остаётся сил, остаётся только музыка. Они сыграли медленное, и комната сама разделилась: пары качнулись к окнам, картёжный круг сполз на пледе в сторону, кто-то уснул прямо в кресле — Каспар, который чинил всё, что не живёт, а теперь не жил сам, положив голову на плечо Марты, и Марта не двигалась, чтобы не разбудить, хотя рука у неё затекла.

Эрик сел рядом с Леоном на подоконник. Он был потный, довольный, с аккордеонной лямкой на плече — он подменял контрабасиста дважды за вечер и оба раза, по всеобщему свидетельству, спасал музыкальную часть программы.

— Ну? — спросил он.

— Хорошо, — сказал Леон.

— Повтори, я не расслышал.

— Хорошо, Эрик.

— Так, — Эрик покивал. — Это дорогого стоит. Ты сказал «хорошо» дважды за вечер. У нас так говорят о погоде и о невестах. Значит, вечер удался, и я звал не зря.

— Ты звал ради наливки.

— Я звал ради тебя. Наливка — совпадение, — сказал Эрик. — Ты, кстати, редко бываешь такой. Я имею в виду: сегодня ты не чертёж. Ты — человек, который чертил чертежи и наконец повесил карандаш.

— У меня карандаш всегда при себе.

— Вот именно, — сказал Эрик. — Потому я и зову тебя на эти безобразия. Чтобы у тебя был хотя бы один вечер без карандаша.

— Карандаш у меня в кармане.

— Вальга, — сказал Эрик с чувством, — ты неисправим. И за это мы тебя и держим.

Уходя, он наткнулся в прихожей на Лену: она искала вторую перчатку и находила только первую, и обе были, судя по всему, в единственном экземпляре, что её явно не устраивало.

— Леон, — сказала она, выпрямившись с одной перчаткой в руке. — Скажите мне как архитектор: мост — он вечером другой или тот же?

— Другой, — сказал Леон.

— А город?

— Город — тот же. Просто свет другой.

— Значит, дело в свете, — сказала Лена и нашла-таки вторую перчатку. — Всегда знала: если что-то не так — ищи свет. Запишу.

В половине второго Леон встал. Комната качнулась — мягко, как качается лодка, к которой подошёл человек: не опрокинулась, а качнулась и успокоилась. Он нашёл свой пиджак, попрощался с Мартой, разбудившей Каспара ради прощания, и с Леной, которая сказала ему на прощание «а ты как думаешь?» — и, по-видимому, это был не вопрос, а подпись, — и вышел с Эриком на лестничную клетку.

— Пешком? — спросил Эрик.

— Пешком. Проветрюсь.

— Молодец. И не падай в реку: она холодная даже летом.

— Я осторожный.

— Именно поэтому я и беспокоюсь, — сказал Эрик. — До субботы, Вальга. И имей в виду: ты сегодня смеялся. Я считал. В три раза больше обычного. Я всё считаю.

— Иди спать, — сказал Леон.

— Уже иду, — сказал Эрик и ушёл внутрь, притворив за собой дверь так мягко, как притворяют двери в счастливые дома.

Город ночью был другой — не пугающий, а просто непривычно пустой. Фонари стояли на своих местах и держали свои круги жёлтого света; в кругах медленно кружилась пыль, и было слышно, как где-то на южном берегу человек запирает лавку — ходит вдоль прилавков, щёлкает замками, и каждый звук отзывается эхом в пустой улице. Мост Старого Штейна Леон пересекал один: гранитные перила были тёплые от дневного солнца, и он положил на них ладонь — рука сделала это сама, без решения, как делает всё самое верное. Вода под арками была чёрная и несла на себе отражения — редкие теперь, потому что окна по ту сторону почти все погасли. Река уносила их на юг, медленно, по заведённому порядку.

У трамвайного депо, мимо которого дорога сворачивала к воде, спали вагоны: ряд за рядом, тёмные, со стёртыми за день окнами. Дежурный свет горел только над воротами, и под этим светом спал рыжий кот — рабочий кот депо, которого Леон знал в лицо, а кот его, судя

по равнодушию, нет. На южном берегу не шёл дым из труб: мастерские спали, и оттого южный берег, обычно гудящий, лежал теперь тихий, как карта самого себя. Где-то перекатывало по камню колесо — один раз, второй, и умолкло. Город ночью распоряжался звуками экономно: не отдавал их, а давал послушать и отбирал обратно.

Дома на обратной стороне сходились тесно, и небо над переулком было узкое, высокое и полное звёзд — в Мистхольме звёзды были старые, честные, и с ними никто не спорил. Мимо булочной Альтмана тянуло вчерашним хлебом: стёкла были тёмные, ставни опущены, но запах жил за ними своей ночной жизнью — дрожжевой, тёплый, упрямый. Пахло так, как пахнет из закрытой пекарни, — то есть хлебом, который уже готов, но никому ещё не достался; самый честный в городе запах: всё уже решено, а никто не знает.

Мимо склада за Старым Штейном он прошёл, как проходил всегда, — и на этот раз не обернулся. Не потому, что было страшно: потому что было не нужно. Проём складской двери стоял в глубине чёрный и тихий, как всегда; из него тянуло холодом и старой пылью; Леон ускорил шаг на полшага — из вежливости — и пошёл дальше. Мальчишеская легенда про того, кто не любит гостей, оставалась мальчишеской легендой, и её никто не потревожил. Пока — никто.

На набережной стояли на приколе две баржи. Томаса не было — ночью парапет пустовал, и голуби на нём не спали так заметно, как спал бы Томас. Окна за спиной Леона светились уже только в трёх-четырёх местах: мансарда — да, мансарда горела, и Леон вспомнил: среда и суббота. Сегодня уже была суббота, значит, всё правильно; он даже немного порадовался, что в голове, размягчённой наливкой, ещё живут расписания, — и пошёл дальше, и его собственное окно ждало его наверху, тёмное и ровное.

Дом встретил его запахом воска и сырого камня. Ключ повернулся привычным усилием, лестница отозвалась скрипом на третьей ступеньке — всегда на третьей, — дверь Хальперн была тёмной: щели под ней не было, света не сочилось, спала. На кухне Леон выпил два стакана воды, а потом, не решаясь на большее, съел кусок яблочного пирога — стоя, в темноте, отрезав его прямо в холодильнике. Пирог был сладкий, как и всегда, и горячим с нижнего левого бока он уже не был — он был просто пирог, холодный и правильный, как всё в этом доме.

Ложась, он думал, что уснёт мгновенно.

Он не уснул.

Тело было тяжёлое, тёплое, ватное — тело хотело спать и требовало спать. Голова — нет. Голова лежала на подушке, как отдельное существо, которое смотрит в потолок и перебирает: Марта и её одно окно. Часы Каспара, остановленные исправно. Лена и её «а ты как думаешь». Старик в сером пальто, смотревший мимо города. Фонари, погасшие разом в первую зиму. Мост. Комната под лестницей. Он перебирал всё это не как задачи — как чётки, без цели: руки головы ходили по бусинам, и бусины были тёплые.

Потом он лежал и слушал дом. Дом ночью разговаривал — Леон знал его ночной словарь наизусть: труба отдаёт короткий вздох, когда наверху закрывают дверь; батарея щёлкает дважды, остывая; в прихожей скрипит доска — не от ветра, а оттого, что дом помнит, как по ней ходят, и старается. Всё это обычно сливалось в один фон, который Леон не слышал, — как не слышат своего дыхания. Сегодня фон был слышен отдельно, звук за звуком, и оттого казалось, что дом не спит, а лежит и слушает вместе с ним.

Он подумал, что завтра — то есть уже сегодня, суббота, — надо будет позвонить родителям: воскресенье, по их договору, начиналось для него с субботнего вечера, потому что в воскресенье утром они всегда были в саду. Скоро ли приедешь, сынок. Приеду, мама. Обязательно. Он подумал это — и подумал, что сказал «обязательно» восемь лет подряд и восемь лет подряд это была правда, потому что «обязательно» не значило «скоро».

Потом он подумал о Бреме и о ключах от чемоданов, о том, что у человека могут быть вещи, которых он никогда не откроет, — и что это, в сущности, честно: не все двери обязаны быть открыты. О некоторых достаточно помнить, что они есть.

Он ещё подумал — мельком, как думают в темноте, — что во всём этом вечере было что-то, что он забыл. Не событие — штрих: как когда забываешь, было ли на столе яблоко, а потом всю ночь помнишь, что нужно было бы яблоко. Он перебрал вечер ещё раз: музыка, наливка, часы, карты, старик... Старик. Он снова увидел серое пальто и взгляд чуть мимо, и на этот раз — сам не зная почему — подумал не «кто это», а «что это». Слова были глупые, и Леон тут же их отменил: уставший человек путает «кто» и «что», это законно.

Около двух, когда он всё ещё не спал, в доме стало очень тихо. Тихо так, как бывает не каждую ночь: ровная, полная тишина, без единого звука — ни воды в трубах, ни осадки рам, ни шагов на улице. Леон лежал и слушал эту тишину, и где-то на краю сознания шевельнулась мысль — простая и неприятная: так тихо было в маленькой комнате под лестницей, где стояли фотографии. Комната без звука. Кадр, вырезанный из дома.

Он поймал мысль, посмотрел на неё и отложил: от усталости, сказал он себе. Ночью всё звучит громче, включая мысли.

Он повернулся на бок, посмотрел на часы: без четверти три. Дал себе условие — простое, честное, как условие в чертеже: если к трём не усну, встану и пройдусь. Пешком, немного, до моста и обратно. От бессонницы это не лечит никогда, но после всегда легче.

Без четверти три он лежал и смотрел в потолок.

В три часа ровно он встал, нашёл в темноте брюки и куртку и начал одеваться — тихо, чтобы не разбудить дом, который спал вокруг него своими тёплыми, правильными, беззвучными снами.

Глава 4. Крик

В три часа ночи Леон Варга закрыл за собой дверь, придерживая язычок замка, чтобы щёлкнул потише, — дом спал, и уважение к спящему дому было в Мистхольме вежливостью, как снятие шляпы. Лестница приняла его мягко: третья ступенька скрипнула ровно там, где всегда, — и на секунду ему стало легко, почти весело, потому что даже бессонница в этом доме шла по правилам: сначала нельзя уснуть, потом можно выйти.

На улице стояла та особая тишина, которая приходит между тремя и четырьмя: не тишина сна — тишина между снами. Фонарь на углу держал свой круг жёлтого света, и в круге медленно кружилась пыль, невидимая днём и нарочитая ночью, будто город нарочно показывал: смотрите, даже пыль не спит. Леон постоял на крыльце, глядя на узкую полоску неба между крышами, и чувствовал, как холод делает своё тихое дело: наливка отходила слоями — сначала ушла теплота из ладоней, потом выправились звуки, потом вернулся обыкновенный, дневной Леон, только очень поздний и ни к чему не обязанный.

«До моста и обратно, — сказал он себе. — Тридцать минут, не больше. Потом постель».

Он спустился по Ремесленной — привычный маршрут, повёрнутый наоборот: утром он шёл им на работу, теперь шёл к реке. Город ночью не был похож сам на себя, и в этом не было ничего тревожного — так звучит знакомая пластинка в чужой комнате: те же ноты, но другой воздух. Асфальт держал прохладу вечера и отдавал её подошвам; в окнах не горело ни одного света, и оттого все они, тёмные прямоугольники один над другим, выглядели как фотографии города, вывешенные на просвет. Леон знал эти окна наизусть — знал, в котором часовщик оставляет на ночь чайник, в котором семья перекладывает простыни, в котором мансарда горит по средам и субботам, — и сейчас знание работало, как работает знание чертежа: всё было на месте, просто проявлялось иначе.

У булочной Альтмана тянуло вчерашним хлебом. Стёкла были тёмные, ставни опущены, но запах жил за ними своей ночной жизнью — дрожжевой, тёплый, упрямый, — и Леон, проходя, подумал, что это самый честный запах в городе: хлеб уже готов, а никому ещё не достался. Всё уже решено — а никто не знает.

Он поймал себя и на другом — на том, что думает о вечере с благодарностью, как думают о подарке: Эрик считал его смех и радовался, Марта рассказывала про окно, Лена записывала в книжечку. Он смеялся сегодня в три раза больше обычного — Эрик посчитал и не соврал бы; Эрик вообще не умел врать в счёте, только в мотивах. И где-то между счётом и мотивом Леон подумал, что завтра — то есть уже сегодня — надо позвонить родителям. Воскресенье начиналось для него с субботнего вечера, потому что утром они всегда были в саду. Скоро ли приедешь, сынок. Приеду, мама. Обязательно. Он сказал «обязательно» восемь лет подряд, и восемь лет подряд это была правда, потому что «обязательно» не значило «скоро». Он поймал себя на том, что думает странно, связно и ни к чему, — так думают, когда усталость и наливка встречаются посреди ночи и спорят, кто кого уложит спать.

Во дворе с побитым фонтаном было тихо: воду перекрыли на ночь, чаша стояла сухая, как ракушка на пляже. Леон прошёл через двор, кивнул в темноту дедовой тележке, — деда не было, но кивнуть стоило, потому что тележка была на месте, — и вышел в Ковочный переулок. Здесь дома сходились так тесно, что кроны смыкались над головой даже ночью, и небо над переулком лежало узкой полосой, усыпанной старыми, честными звёздами, с которыми никто в Мистхольме не спорил. Старый почтовый ящик стоял на своём покосившемся месте — его никто не чинил двадцать лет, потому что все привыкли, и он держался, как держится многое в этом городе: на привычке.

Потом переулок вырвался на набережную, и Леон вышел к реке.

Мертена ночью была чёрная и медленная. На южном берегу не шёл дым из труб — мастерские спали, — и южный берег, обычно гудящий, лежал тихий, как карта самого себя: все крыши на местах, все огни погашены, и только в доках, у самой воды, горел один-единственный жёлтый фонарь, зачем-то не нужный никому. У причалов стояли на приколе две баржи, и вода перекатывала свет фонарей с борта на борт, и казалось, что баржи дышат. Парапет Томаса пустовал: ночью голуби не спали так заметно, как спал бы Томас.

Леон дошёл до начала моста Старого Штейна, положил руку на гранитные перила — тёплые от вчерашнего солнца, — и постоял. Вода под арками несла на себе отражения — редкие теперь, потому что окна по ту сторону почти все погасли. Река уносила их на юг, медленно, по заведённому порядку, и в этом медленном уносе было что-то такое, от чего хорошо думается и ничего не надо решать. Леон стоял минут десять. Плечи опустились. Усталость, которая не давала уснуть, начала сдавать — потому что усталость боится открытого воздуха больше, чем закрытой постели.

Стоя у перил, он вспомнил вечер — не весь, а отрывками, как вспоминают уже начавшийся сон: музыку, которая к одиннадцати стала настоящей; Лену с её перчатками и «а ты как думаешь»; Марта и её одно окно, триста раз нарисованное. Эрик кричал «человек живой» так, как кричат на вокзалах при встрече. Всё это было тёплое и уже далёкое, как лето, которое кончилось не в сентябре, а сегодня, в три часа ночи.

И ещё было одно воспоминание — не тёплое. Старик в сером пальто.

Леон вспомнил его так, как вспоминают слово, которое вертится на языке: он стоял у окна, поодаль от музыки, с недопитым стаканом, и смотрел чуть мимо города — сквозь стекло, как смотрят на то, что за стеклом и дальше. Каспар сказал, что он с кем-то пришёл. А потом его не было — ни в комнате, ни в прихожей, и это прошло так буднично, что заметил один Леон.

Сейчас, стоя у воды, Леон подумал, что «чуть мимо» — знакомо. Так же говорили про фотографа из сороковых, чьи снимки висели под лестницей у Брема: идут люди, смотрят на реку, — а он смотрит чуть мимо. Всю жизнь чуть мимо. Леон не сделал из этого вывода — выводов не было, было только ощущение, что две эти вещи, серое пальто у окна и стёртые снимки под лестницей, стоят в разных комнатах его жизни и смотрят в одну сторону.

«Обратно», — сказал он себе и повернул.

И на полдороге назад, у поворота к набережной, там, где переулок делал колено между каменной кладкой и глухими задами, Леон услышал крик.

Это не был пьяный смех, не был окрик из окна, не был даже звук ночной ссоры — то, к чему ночные улицы приучают с первого года. Это был сдавленный крик: короткий, оборванный на середине, как будто человек крикнул не по своей воле и тут же зажал себе рот. Или как будто рот зажали другие. Голос был тонкий и в то же время глухой — в нём не было ни возраста, ни пола, а была только одна сжатая, задушенная нота, — и после неё наступила тишина, из которой уже ничего не следовало.

Леон остановился.

Первое, что сделал его ум, — попытался отнести звук к привычным категориям, как относят к строкам расходной книги: перетаскивали мебель; играл ребёнок, которого унесли; шумел ветер в трубах; уронили что-то тяжёлое. Ни одна строка не сходилась. Он стоял и слушал, и переулок перед ним лежал тёмный, как погасшая сцена, и в этой темноте можно было шуметь сколько угодно — никто бы не услышал.

— Эй? — негромко позвал Леон.

Голос вышел неожиданно маленький. Тишина не ответила — и от её невежливости, оттого, что она даже не сделала вида, что не расслышала, по спине прошло холодом.

И тогда включился второй ум — тот, который Леон считал своей слабостью и которым втайне гордился: ум, который не хотел отпускать. «Крик был человеческий, — сказал он себе. — Человеческий крик означает человека. Человек, который кричит так, в три часа ночи в

пустом переулке, либо упал, либо ему плохо, либо его держат. Если он лежит со сломанной ногой, каждая минута — его минута. Если его держат — тем более».

Но прежде чем доводы встали, Леон успел подумать о другом — и это было первым из странного этой ночи.

«Если увидите дверь, которая не там, где должна, — не обязательно её открывать. Но запомнить надо».

Слова госпожи Хальперн. Те самые слова, которых она не говорила, — Леон был готов поспорить на что угодно, что не говорила, — и которые теперь стояли в голове так ясно, как будто она стояла за плечом, в халате, с пирогом на ладонях, и говорила их не про лестничную клетку, а про этот самый переулок, про этот самый час. Откуда слова — он не понимал. Он знал только, что они правильные, как бывает правильной строчка чужого письма, которую ты не писал, а она всё равно твоя.

И ещё было одно — комната под лестницей у Брема. Тишина в ней, из которой не было слышно живого дома. Десятки снимков одного и того же моста в один и тот же час. «Либо очень любишь место, либо чего-то от него ждёшь», — сказал тогда Грубе, и Леон согласился, не подумав как следует. Теперь, стоя в переулке перед тёмным проёмом, он вдруг подумал, что фотограф ждал не любви. Фотограф ждал повторения. Мост, набережная, один и тот же свет — снимок за снимком — это ведь и была проверка: он снимал не вид, он сверял часы.

Против этого стояли три спокойных довода. Первый: это не его дело, и в городе, где все всё знают, в это «не его дело» давно записано всё, что не считается приключением. Второй: он устал, у него нет ни фонаря, ни свистка, ни, тем более, права на героизм — у него есть тридцать шесть минут маршрута и желание спать. Третий, самый честный, Леон признал его сразу, без суда: было страшно. Не так, как страшат сказки, а просто, по-детски: тёмный переулок в три часа ночи, и оттуда крикнули.

Доводы стояли и молчали. А любопытство и чувство ответственности — они не спорили, они просто уже шли.

Леон повернул в переулок.

Переулок был узкий, высокий, с каменной кладкой по обеим сторонам; в дальнем его конце, у самой набережной, стоял старый кирпичный склад — тот самый, мимо которого Леон проходил ежедневно и которому мальчишки приписывали жильца, не любящего гостей. Леон шёл медленно, вглядываясь в тени у стен: там, где складывались от фонарей синие прямоугольники, мог лежать человек — и не лежал. Ни одежды, ни брошенной сумки, ни капли крови на камне — ничего. Только запах, резкий и неуместный: машинное масло, смешанное с мокрой шерстью, — как будто в переулке что-то смазывали. Леон не мог вспомнить, когда он в последний раз чувствовал этот запах в Мистхольме, — и вместе с тем запах был не чужой, а знакомый до дрожи, как запах из сна, который забыл.

— Эй! — позвал он уже громче. — Есть кто?

Ответа не было. Вода далеко за стенами несла свои звуки — то поднимала их, то убирала, как гребень. И тогда Леон увидел то, чего не было меньше часа назад, когда он проходил мимо склада по дороге к реке.

В чёрном проёме складской двери горел свет.

Дверь была приоткрыта на ширину ладони, и сквозь щель шло ровное жёлтое свечение — не от фонаря снаружи, а изнутри, из глубины. Свет лежал на первых ступенях лестницы — той, что стояла глубоко внутри, на отлёте от двери, —, дальше темнота съедала его, и от этого казалось, что лестница уходит в свет, как в воду, и не кончается.

Мальчишеская легенда вспомнилась сама, без приглашения: кто-то из дворовых — уже не помнить, кто, — рассказывал, что в этом складе внизу живёт кто-то, кто не любит гостей, и что раз летом туда залезли трое, и вышли двое, и третий вышел тоже, только его больше никто не видел, потому что он, говорят, уехал к тётке в Пежмы. Так объясняют исчезновения

в городах, где не принято объяснять: уехал к тётке. Леон тогда, в первый же год после приезда, посмеялся вместе со всеми и забыл. Теперь легенда стояла в переулке рядом с ним — не смешная, а служебная, как табличка на двери: «посторонним вход воспрещён». Таблички вешают не для того, чтобы пугать. Их вешают для того, чтобы что-то охранять. Всё остальное — стены, свод, перила — оставалось таким же, каким было всегда; изменился только свет. Он не мигал, не дрожал, не отражался от чего-то постороннего. Он просто был.

Леон стоял у проёма и говорил себе очень здравые вещи. Свет могли оставить и час назад: кто-то спустился за инструментом и забыл выключить. Крик мог быть из соседнего двора — звуки в переулках ходят странно, отражаются от стен и приходят не оттуда, откуда ждёшь. Крик мог быть и вовсе не отсюда: какая-нибудь компания с южного берега, чей шум понесла река.

И здравые вещи кончались. Потому что склад был пустым. Леон знал это так же точно, как знал свой дом: восемь лет он проходил мимо каждый день, дверь склада стояла заколоченной снаружи ещё с прошлой мэрии, внутри не было ни стеллажей, ни сторожа, ни лампы, до которой дотянуться рукой, — лампы там не было вовсе. Свет, который горел теперь в её глубине, нечему было гореть.

И ещё: досок, которыми дверь была заколочена, больше не было. В дереве остались тёмные точки шляпок. Снять их можно было только со складской стороны — или снаружи, но так давно и так тихо, что он не заметил. Это была уже не заколоченная дверь. Это была дверь, которой пользуются.

Он положил ладонь на дверь. Дерево было тёплое — не как нагретый солнцем подоконник, а как рука: ровно, живо. Он открыл её дальше и вошёл.

Холод принял его сразу, как принимает чужой дом, где давно никто не живёт: полным объёмом воздуха, который копился и ждал. Пахло пылью, маслом и ржавчиной — складским набором, правильным до последнего компонента, — и под всем этим, тонко, как нота под аккордом, шёл запах нагретой пыли на лампочке: тот самый, который издают все включённые лампы мира. Значит, внизу горела лампа. Значит, внизу кто-то был.

И первым, что Леон увидел внутри, была лестница.

Не уличный проём, не крыльцо, не вход из переулка — лестница внутри самого склада. Просторное помещение раскрылось вокруг него: кирпичные стены, уходящие в высоту, балки под потолком, ровный слой пыли на полу — ни следов, ни ящиков, ни стеллажей. И посреди этого пустого объёма, от самого пола, вниз уходила лестница: бетонные ступени, стёртые посередине до гладкости, перила из старой ковки, тёплые на вид и холодные на ощупь, как всё железо в этом городе. Внизу, глубоко, лежал свет — тот самый, что он видел из переулка.

А над лестницей, там, где она должна была продолжаться вверх, темноту перекрывала кладка: грубый кирпич, положенный наискось, без раствора, как будто кто-то однажды сказал «хватит» и больше сюда не поднимался. Тупик. Наверх не уйти — только вниз.

Он не потрогал кирпич. В темноте глазу верят больше, чем пальцам: глаз уже ответил, а пальцы только спрашивают. Ладонь легла на перила — там, где её ждали вещи, — и больше наверх не попросилась.

«Просто посмотрю, — сказал Леон. — Свет. Лампа. Сойду и уйду».

Это не было героическим решением. Это было решение человека, который спускается в погреб за солёными огурцами, и одновременно — решение человека, который не может не посмотреть. Он держался за перила и не боялся, насколько мог судить: страх стоял где-то в ногах и поднимался по ним вверх, но пока не доходил до головы.

Он начал спускаться.

Ступени были бетонные, стёртые посередине до гладкости, и он считал их автоматически, как считал всегда, когда спускался в неизвестное: не из педантизма — из устройства ума, который на каждое неизвестное заводил счёт. Двадцать четыре ступени, поворот на площадке, потом ещё двенадцать. Тридцать шесть. Он ступал ровно, почти не слыша себя, — и слышал

всё остальное: как вода за стенами дышит в такт его шагам, как пыль оседает на перилах под ладонью, как внизу свет лежит терпеливо и никуда не торопится.

На середине марша Леон замер.

Наверху, там, где он вошёл, что-то сдвинулось: тень прошла по проёму — короткая, поперечная, как проходит по проёму человек. Или это было облако перед фонарём? Неба не было: свод, кирпич, темнота. Леон стоял, не поднимая головы, и слушал. Шагов не было. Воздуха — не было. Только вода за стенами продолжала своё, равнодушное.

Он сосчитал до десяти. На восьмом у него дёрнулась рука, чтобы обернуться, и он запретил ей. С неизвестным не оборачиваются спиной к свету: он знал это из старых инженерных историй про шахты и колодцы, не знал откуда на самом деле — знал. На десяти он сделал последний поворот и вышел на нижнюю площадку, и наверху уже ничего не было, и никто не спустился следом, и Леон позволил себе подумать, что, может, это и было облако.

На нижней площадке горела лампа под потолком — в чёрном железном конусе, дававшем ровный круг света. Свет лежал на ступенях, на полу, на двери.

Дверь была с облупившейся краской.

Краска на ней была тёмно-зелёная, облупившаяся до голого дерева — по краю, по панели, по нижней перекладине, — и номер 98 был выведен жёлтой эмалью, той самой стойкой, которой пишут номера на бортах судов: крупные, спокойные цифры, видные и в темноте. Дверь была обыкновенная — такая же, как в подъездах, как в подвалах, как в тысячах городов, — и в то же время она стояла здесь, в пустом складе, за тридцатью шестью ступенями от улицы, как будто её поставили не для людей, а для чего-то другого.

Дверь он осмотрел, как осматривал старые дома: быстро и в порядке, заведённом в бюро. Петли — снаружи, значит, открывается наружу, к тому, кто стоит перед ней, — так делают двери, которыми пользуются чаще, чем показывают. Замка не было. Краска облупилась не от старости: старость сыплется равномерно, а здесь шелушился край, у самого борта, там, где держатся пальцами, когда тянут. Эту дверь открывали часто. Много раз. Годами.

И ещё он заметил то, чего не мог не заметить, потому что это было его ремеслом: номер был выведен эмалью на высоте глаз — ровно, уверенно, одной рукой, без подновлений. Кто-то писал его, стоя перед этой дверью так же, как стоял Леон, — и писал не для того, чтобы обозначить. Для того, чтобы прочесть.

Он открыл дверь.

За ней был коридор — метра два, не больше: кирпичные стены, бетонный пол, голая лампочка под потолком, дававшая тот же ровный жёлтый свет. В конце коридора стояла вторая дверь — тёмно-зелёная, облупившаяся, с жёлтым номером 98, выведенным той же судовой эмалью. Это был коридор, построенный не для того, чтобы в нём жить, а для того, чтобы через него пройти, — и всё в нём было сделано руками человека, который умел строить и не умел или не хотел объяснять, что строит.

Леон переступил порог. За спиной, тихо, без единого скрипа, закрылась дверь 98: он не услышал удара — он услышал, как кончился сквозняк.

Коридор был короткий, но Леон обернулся — посмотреть на дверь, из которой вышел. Дверь стояла за его спиной закрытая, обыкновенная, с тем же облупившимся краем у борта, но с этой со стороны коридора был номер 99. Впереди, в двух шагах, ждала дверь 98. Между ними не было ничего: две двери, два метра кирпича, одна лампочка. Как тамбур между двумя мирами — если бы тамбуры строили без окон и не объясняли, зачем.

Он открыл дверь 98.

За ней была лестница — вниз.

Не подвал, не помещение, не то, что Леон рассчитывал найти за дверью с номером, — лестница. Те же бетонные ступени, стёртые посередине до гладкости. Те же перила из старой ковки, тёплые на вид и холодные на ощупь. Леон узнал их раньше, чем успел понять, — узнал

так, как узнают своё окно в тёмном подъезде: не разглядывая, а по руке, которая уже легла на перила.

Лестница стояла посреди помещения, с тем же отступом от стен, что и в первом складе. Всё совпадало до миллиметра — и в этом совпадении было что-то более странное, чем в любой разнице.

«Просто посмотрю, — сказал он, и голос его в тишине прозвучал маленьким и чужим. — Сойду и уйду».

Он начал спускаться.

Ступени были бетонные, стёртые посередине до гладкости. Двадцать четыре ступени, поворот на площадке, потом ещё двенадцать — счёт шёл сам, как шёл всегда, — и на середине марша картина сложилась раньше, чем Леон успел её назвать.

Он спускался в точно таком же складе.

Стены вокруг него разошлись в высоту — кирпичные, с балками под потолком; под ногами лежал ровный слой пыли, без следов; внизу, глубоко, ждал свет. Он не входил в этот склад через дверь на его уровне — он уже был в нём, спускался с самого верха, как спускался минуту назад в первом складе. Лестница, по которой он шёл, была та же самая — не похожая, а та же самая: тот же след посередине, тот же скол на седьмой ступени, та же неровность бетона на девятнадцатой. Между одной ступенью и следующей не было перехода, не было порога, не было даже толчка, как бывает при смене вагона. Он шёл по лестнице за дверью 98 — и шёл по лестнице внутри склада, и это была одна и та же лестница, и склад вокруг неё был точно такой же, как тот, в который он вошёл с улицы.

Леон дошёл до нижней площадки. Здесь горела лампа — такой же чёрный конус, такой же ровный круг света на ступенях и полу. И перед ним, на площадке, стояла дверь — в том самом месте, где в первом складе стояла дверь 98. Краска та же, тёмно-зелёная, облупившаяся до голого дерева. Эмаль та же, жёлтая, судовая. Номер был другой.

97.

Леон постоял. Потом посмотрел наверх, откуда пришёл: лестница поднималась к площадке, а на площадке, в глубине тьмы, была дверь 98 — та, через которую он вошёл. Дверь сверху и дверь снизу — с одним номером, как две страницы одной книги, вложенные друг в друга. Он не стал искать этому названия — названия появлялись сами, и он уже начал им доверять меньше, чем счёту. Счёт был простой: склад. Лестница вниз. Дверь. Коридор. Дверь на единицу меньше. Лестница вниз. Склад — точно такой же. Ступенька за ступенькой.

«Слой», — сказал Леон вслух, непонятно зачем.

Слово вышло само, из ниоткуда — не потому, что он его придумал, а потому, что оно почему-то было готово. Он попробовал повторить и не смог понять, что оно значило: не геологический слой, не слой краски, не слой истёршейся штукатурки, которую снимают при реставрации, находя под ней предыдущий цвет. Хотя последнее было ближе всего: под каждым домом Мистхольма — другой дом. Под каждой штукатуркой — цвет. Под каждым городом — город.

Он открыл дверь 97 — нижнюю, ту, что ждала его на площадке.

За ней был коридор — метра два, не больше: кирпичные стены, бетонный пол, голая лампочка под потолком, дававшая тот же ровный жёлтый свет. Всё было как в первом коридоре — до последней трещины в известке, до последнего пятна на полу, и от этого сходства по спине прошло холодом: сходство было не похожестью, а повторением. И как в первом коридоре, позади него стояла дверь — та, через которую он вошёл, с номером 98, — а впереди, в двух шагах, ждала дверь с номером 97.

Леон стоял посреди коридора и смотрел на неё. Не открывал — не потому, что боялся, а потому, что понимал: за ней будет склад, точно такой же, а за его лестницей внизу — дверь 96, и коридор, и 95, и так дальше, вниз, слой за слоем, как ступенька за ступенькой, и где-то там, глубоко, числа кончатся — или не кончатся, и это было хуже. «Просто посмотрю», —

сказал он себе в третий раз за ночь, и в третий раз это было правдой: он посмотрел. Он видел достаточно, чтобы знать порядок, и недостаточно, чтобы сойти с ума от полного счёта.

Он закрыл дверь 97 — ту, за которой лежал коридор и ждала 97, — и пошёл наверх.

Как он шёл наверх, он потом не вспомнил бы и под присягой. Ступени были те же, счёт был тот же, тридцать шесть, — и на каком-то из них, между одним шагом и следующим, он перестал считать, а когда снова начал — он уже стоял на уровне пола, посреди склада, и перед ним, метрах в трёх, была приоткрыта уличная дверь, и за ней стояла ночь. За спиной, у самой лестницы, темнела дверь — та, через которую он вошёл, — но он не оборачивался к ней: улица была впереди, ночь была впереди, и ночь была та же самая, что он оставил: набережная, вода, мост Старого Штейна, огни южного берега.

Он не подумал о том, что для того, чтобы вернуться наверх, надо было идти через коридор, через дверь с номером 99 и подниматься по лестнице первого склада, — того, к которому вёл переулок. Он не подумал, потому что не пришёл в себя: наливка ещё держала его за затылок мягкой тёплой ладонью, и дорога домой казалась продолжением дороги сюда, а не отдельной дорогой. Улица была за дверью — значит, дверь была выход. Всё просто, как таблица умножения, и так же непроверяемо в три часа ночи.

Он вышел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.